

Случаи из жизни

Владимир Владимирович
Набоков

Annotation

- [Набоков Владимир](#)
 -

Набоков Владимир

Случаи из жизни

Владимир Набоков

Случаи из жизни

За стеною Павел Романович с хохотом рассказывал, как от него ушла жена.

Я не выдержала этого ужасного звука и, не спросясь зеркала, в мятом платье, в котором валялась после обеда, и, вероятно, с печатью подушки на щеке, выскочила туда, то есть в хозяйскую столовую, где застаю такую картину: мой хозяин, некто Пришвин (не родственник писателя) поощрительно слушает, безостановочно набивая папиросы, а Павел Романович ходит кругом стола с кошмарным лицом, до того бледный, что кажется даже побледнела его чистоплотно обритая голова,-- чистоплотность особенно русская, инженерно-военная какая-то, но которая сейчас напоминает мне что-то нехорошее, страшное, вроде как каторжное. Он пришел собственно к моему брату, который как раз уехал, но это ему в сущности все равно, его горе должно говорить, и вот он нашел довольного слушателя в едва знакомом, малосимпатичном человеке и, хохоча, причем глаза не участвуют, рассказывает, как жена собирала по квартире вещи, как по ошибке увезла его любимое пенсне, как все ее родственники были в курсе дела до него, как -- "Вот интересно",-- вдруг обращается он прямо к Пришвину, богомольному вдовцу, а то все больше говорил в пространство,-- "вот интересно, как будет на том свете, будет ли она там жить со мной или с этим холуем?" "Пойдемте ко мне, Павел Романович",-- сказала я своим самым хрустальным тоном, и только тогда он заметил мое присутствие, я стояла, грустно прижавшись к углу темного буфета, с которым словно сливалась моя небольшая фигура в черном платье,-- да, я ношу траур, по всем, по всем, по себе, по России, по зародышам, выскобленным из меня. Мы перешли в мою комнатку, крохотную, там едва помещается шелковое ложе поперек себя шире и на низком столике стеклянная бомба лампы, налитая водой, и в этой атмосфере моего личного уюта Павел Романович сразу сдвинулся другим, молча сел, потер воспаленные глаза. Я свернулась рядом, похлопала по подушкам и задумалась,

женской облокоченной задумчивостью, глядя на него, на его голубую голову, на крепкие плечи, которым бы шел скорее китель, а не этот двубортный пиджак. Я глядела на него и все удивлялась, как могла некогда увлекаться этим низкорослым, коренастым мужчиной с простым лицом (только зубы больно хороши, это нужно признать), а ведь увлекалась же я им два года тому назад, когда он еще только собирался жениться на своей красавице,-- и как еще увлекалась, как плакала из-за него, как снилась мне эта тонкая цепочка на его волосатой кисти! Из заднего кармана он добыл свой большой и, как он выражался "боевой" портсигар и, удрученно кивая, постучал несколько раз, больше раз, чем обычно, папиросой о крышку. "Да, Марья Васильевна,-- сказал он наконец сквозь зубы, закуривая и поднимая треугольные брови,-- да, никто не мог думать, что оно так случится, верил в бабу, крепко верил". После его припадка разговорчивости все казалось теперь страшно тихим, слышно было как дождь капает о подоконник, как за стеной щелкает своей набивалкой Пришвин. Оттого ли, что день был пасмурный, или оттого, что такое несчастье, как несчастье Павла Романовича, требует и от видимого мира распада, затмения, но мне сдавалось, что уже давно вечер, хотя было всего три часа дня, и мне еще предстояло ехать за город по братнему делу. "Какая сволочь,-сказал Павел Романович со свистом,-- ведь она и только она ее свела с ним, она мне всегда была противна, я от Леночки этого не скрывал. Какая сволочь! Вы ее кажется видали,-- под шестьдесят, красится в гнедую масть, жирна, горбата от жира. Весьма жаль, что Коля уехал. Когда он вернется, пускай мне позвонит немедленно. Я, как вы знаете, простой, прямой человек, и я давно Леночке говорил, у тебя мать дурная, вредная. Теперь вот такая вещь: может быть мне Коля поможет сварганить письмо к старухе, формальное так сказать заявление, что я отлично знаю и понимаю, чье это влияние, кто это мою жену подталкивал,-- вот в таком духе и абсолютно вежливо, конечно".

Я молчала. Впервые он был у меня, именно у меня, визиты к брату не считались, впервые сидел у меня на кауче. ронял пепел на мои разноцветные подушки,-- но то, что прежде было бы для меня райским удовольствием, теперь вовсе меня не радовало. Давно уже добрые люди доносили, что его брак неудачен, что его жена оказалась дрянной, взбалмошной дурой,-- и дальновидная молва давно давала ей в любовники как раз того оригинала, который ныне прельстился ее коровьей красотой. Катастрофа поэтому не являлась

для меня сюрпризом,-- мало того, я может быть и ожидала, что когда-нибудь Павел Романович вот так будет прибит ко мне. Но нет,-- как я ни скребла по самому доньшку души, не находила я радости, а напротив мне было так тяжело, так тяжело, что просто не умею выразить. Все мои романы по какому-то секретному соглашению между их героями всегда были как на подбор бездарны и трагичны, или точнее бездарностью и обуславливалась их трагичность. Их вступления мне вспоминать совестно, развязки -- противно,-- а средней части, то есть как раз самой сути, как бы вовсе и нет, а вспоминается только какое-то вялое копошение, как сквозь мутную воду или липкий туман. Мое увлечение Павлом Романовичем было хоть тем славно, что оно не походило на все другое, оставаясь холодным и прелестным,-- но сейчас и оно, такое уже далекое, минувшее,-обратным порядком заимствовало от настоящего дня оттенок несчастья, неудачи, даже просто какого-то конфуза, из-за того, что мне теперь приходилось выслушивать эти жалобы на жену, на тещу.

"Поскорее бы Коля вернулся,-- сказал Павел Романович.-- У меня еще есть один план и, кажется, неплохой. А пока что я, пожалуй, пойду".

Я молчала, горестно глядя на него и прикрыв рот бахромой черной шали. Он подошел к окну, по стеклу которого, стуча и жужжа, кубарем поднималась муха и опять съезжала; потом он потрогал корешки книг на полке. Как большинство людей, мало читающих, он питал пристрастие к словарям и теперь вытащил толстозадый том с одуванчиком и девицей в рыжих локонах на обложке. "Прекрасная штука",-- сказал он, втиснул слона обратно и вдруг громко зарыдал. Я усадила его рядом с собой, он покачнулся, рыдая все пуще, и уткнулся лицом в мои колени. Легкими пальцами я касалась его горячей наждачной головы и розового крепкого затылка, который мне так нравится в мужчинах. Понемножку его рыдания утихли. Он мягко укусил меня сквозь платье и выпрямился. "Знаете что,-- сказал он, звучно шлепнув в большие полые ладони (у меня был волжский дядюшка, который так показывал, как коровы кладут пироги),-- пойдемте ко мне, голубушка. Я оставаться один не в силах. Мы вот вместе поужинаем, водочки трахнем, затем в кино, а?"

Я не могла не согласиться, хотя знала, что буду об этом жалеть. Отменяя по телефону дело, я видела себя в зеркале и себе самой казалась монашкой со строгим восковым лицом, но через минуту,

пудрясь и надевая шляпу, я как бы окунулась в свои огромные, черные, опытные глаза, и в них был блеск отнюдь не монашеский,-- даже сквозь вуалетку они горели, ух, как горели. По дороге, в трамвае Павел Романович стал чужим, угрюмым, я рассказывала ему про колину службу, а у него шнырял взгляд, он явно не слушал. Приехали. В трех небольших комнатах, которые он со своей Леночкой занимал, господствовал невероятный беспорядок, точно самые вещи, его и ее, передрались между собой. Чтобы развлечь Павла Романовича, я стала изображать субретку, надела всеми забытый в углу кухни передничек, внесла успокоение в ряды мебели, чистенько накрыла на стол, так что Павел Романович наконец опять шлепнул в ладони и решил сварить борщ, он очень гордился своими поварскими способностями.

После первых двух-трех рюмок, он пришел в необыкновенно бодрое, деловитое настроение, точно в самом деле был какой-то план, к выполнению которого надо было приступить. Не знаю, заразился ли он сам от себя той напускной серьезностью, которой умеющий выпить мужчина обставляет водку, или же впрямь ему казалось, что еще у меня в комнате мы с ним вместе начали что-то такое вырабатывать, обсуждать, но он зарядил самопишущее перо, с многозначительным видом принес досье,-- письма жены к нему, когда он весной уезжал в Бремен или куда-то, и стал приводить из них цитаты, доказывающие, что она именно его любит, а не того. При этом он что-то бодро приговаривал,-"так-с", "отлично-с", "вот, извольте видеть",-- и продолжал пить. Рассуждение его сводилось к тому, что если Леночка ему писала "мысленно ласкаю тебя, павианыч милый", то она не может любить другого, а посему заблуждается, и нужно ей заблуждение это растолковать. Еще выпив, он переменялся, потемнел, погрубел, почему-то разулся, а потом снова, как давеча, разрыдался и рыдая ходил по комнатам, словно не было меня, и со всей силой босой ступней отпихивал стул, когда на него натыкался. Он dokonчил между тем графин, и тогда наступила третья фаза, заключительная часть этого пьяного силлогизма, в которой сочетались по всем правилам диалектики первоначальная деловитость и последовавшая за нею мрачность. Теперь выходило так, что мы с ним установили кое-что (что именно, было довольно неясно), в чрезвычайно неблагоприятном свете рисуящее ее любовника, и план состоял в том, чтобы я, как бы по собственному почину, отправилась к ней и "предупредила", причем надо было заразить ей понять и то, что Павел Романович абсолютно против всякого

вмешательства, и то, что его советы носят характер ангельского бескорыстия. Не успела я опомниться, как уже окруженная и стесненная густым шепотом Павла Романовича тут же поспешно обувавшегося, звонила ей по телефону и только, когда услышала ее голос, высокий, глупо звонкий,-- вдруг ясно поняла, что я пьяна и делаю глупости. Я разъединила, но он принялся целовать мои холодные, мон сжимающиеся руки, и я позвонила опять, была признана без энтузиазма, сказала, что должна ее повидать, по делу, и она с некоторой запинкой согласилась, чтобы я пришла к ней тотчас. Тут, то есть, когда уже мы вместе с Павлом Романовичем вышли из дома, оказалось что план наш созрел окончательно и поразительно прост: я должна была ей сказать, что у Павла Романовича есть нечто сообщить ей исключительно важное,-- -никак, никак не касающееся их расхождения (на это он особенно напирал, смакуя такую тактику), и что он ее ждет в пивной напротив.

Я как-то очень долго поднималась по лестнице, и меня почему-то страшно мучила мысль, что последний раз, когда мы с нею виделись, я была в той же шляпе и с той же черной лисой на плече. Леночка зато вышла ко мне нарядная, только что, видимо, завитая, но плохо завитая, да и вообще подурневшая, с какими-то пожилыми припухлостями вокруг шикарно намазанного рта, из-за которых весь этот шик пропадал напрасно. "Я не верю, что это так важно,-- сказала она, глядя на меня с любопытством,-- но если он думает, что мы еще не обо всем переговорили, пожалуйста, я согласна, только прошу при свидетелях, одна я боюсь с ним остаться, довольно, господа".

Когда мы вошли в пивную, Павел Романович сидел облокотясь о стол, тер мизинцем красные, голые глаза и длинно, однотонно, рассказывал что-то, какой-то "случай из жизни" совершенно незнакомому немцу, сидевшему за его столом, огромного роста мужчине с прилизанным пробором, но с темным пухом сзади на шее с обкусанными ногтями. "С другой стороны,-- говорил Павел Романович,-- мой отец не хотел влипнуть в историю и поэтому решил его окружить забором. Хорошо-с. От нас было до них как примерно:..." Он рассеянно кивнул жене и продолжал как ни в чем не бывало: "...примерно до трамвая, так что никаких претензий у них быть не могло. Но согласитесь, что провести всю осень в Вильне без света не шутка. Тогда, скрепя сердце..." было совершенно непонятно, о чем он рассказывает. Немец слушал прилежно, слегка раскрыв рот, он с трудом понимал по-русски, но самый процесс понимания

доставлял ему удовольствие. Леночка, сидевшая так близко от меня, что я чувствовала ее неприятную теплоту, принялась рыться в своей сумке. "Этому решению,-говорил Павел Романович,-- посодействовала болезнь отца. Если вы там действительно жили, то, конечно, помните улицу. По ночам там темно, и часто случается..." "Павлик,-- сказала Леночка,-вот твое пенсне, я нечаянно увезла в сумке", "По ночам там темно",-- повторил Павел Романович; растворил, говоря, футлярчик, который она ему перебросила через стол, надел пенсне и, вынув револьвер начал в жену стрелять.

Она с воплем упала под стол, увлекая меня за собой, а немец, отпрянувший от Павла Романовича, споткнулся о нас и тоже упал, так что мы. трое как-то спутались на полу, но я успела увидеть, как подскочивший к стрелявшему официант со страшным: наслаждением: и силой ударил его по темени железной пепельницей. Потом было обычное в таких случаях медленное приведение разбитого мира в порядок,-- с участием зевак, полиции, санитаров. Фальшиво стонущая, навывлет раненная в толстое загорелое плечо, Леночка была отвезена в больницу, а вот как Павла Романовича уводили, я не видела. Когда все кончилось, то есть когда все опять заняли свои места-- фонари, дома, звезды,-- я очутилась на пустынной улице вместе с немцем; громадный, с обнаженной головой, в просторном макинтоше, он словно плыл рядом со мной. Мне сначала казалось, что он провожает меня домой, но внезапно сообразила, что это я его провожаю. Медленно, веско, но не без поэзии, почему-то на дурном французском языке, он объяснил мне у своих ворот, что не может повести меня к себе, потому что живет с приятелем, который заменяет ему и отца, и брата, и жену. Его извинения показались мне столь оскорбительными, что я велела ему вызвать немедленно таксомотор и отвезти меня восвояси, но он испуганно улыбнулся и захлопнул мне дверь в лицо,-- и вот я уже шла по мокрой,-- хотя дождь давно перестал,-- мокрой и точно пристыженной улице,, совсем одна, как мне от века идти полагается, и перед глазами у меня все поднимался, поднимался Павел Романович, стирая с бедной своей головы кровь и пепел.